

т. е. удлинять строку, но наш шестистопный ямб всегда казался мне неуклюжим и «тяготеющим» к цезуре.) Поэтому увеличение числа строк — в известных пределах, разумеемся, — кажется мне наименьшим злом. Режиссеры начнут черкать своими красными карандашами, но эти господа и без того к ним прибегают, кроме, того, они сокращают большими кусками, не затрагивая стиля, в то время как переводчик, «резюмируя» текст или укладывая свою речь в прокрустово ложе, тем самым меняет характер произведения. Следовательно, для болгарского языка удлинение по вертикали, позволяющее строго придерживать текст, в данном случае наилучший путь к максимально верному воспроизведению оригинала.

Мотивы, вынуждающие переводчика Шекспира отходить от текста, связаны и с тем, что многое в шекспировских драмах устарело и непонятно нынешнему читателю или зрителю. (А это именно драмы, и там звездочкой не отошлешь к примечаниям.) Но и по этой линии я придерживался и придерживаюсь текста оригинала. Кое-где незнакомое слово можно, тщательно все взвесив, заменить другим, но систематическое осовременивание было бы, на мой взгляд, ошибочным. Шекспир на протяжении веков подвергался бесчисленным изменениям — каждая эпоха оставляла на его творениях отпечаток своего вкуса и своих запретов, — но ни одно из этих изменений не закрепило, а оригинальный текст остался свежим и неувыдающим. Сейчас нам кажется, что, пригласив историческое дыхание текста, мы тем самым приблизим его мысли к нашему времени, но не правильнее ли обратное: чем ярче в переводном тексте присутствие XVI века, тем легче современный читатель и зритель принимает наивные фабулы, условности елизаветинской сцены и проч., от которых мы так или иначе не можем освободиться, и тем настойчивее все напоминает нам, что заключенное в этих наивных фабулах и условностях содержание — мысли, характеры, конфликты, поэзия, — столь мудрое и верное сегодня, было сойдано четыре столетия назад! Так прозрения Шекспира о человеке начинают звучать, мне кажется, еще более мощно:

но, ибо мы слушаем их с полусознанной мыслью, что, коль скоро они действительны и в наше время, хотя пришли к нам из такой дали, значит, наверное, будут действительны во все времена.

Но одно дело быть в этом уверенным, а другое — изменять свои взгляды на практике. Приведу только один пример: шекспировские храбрцы на каждом шагу говорят о своей печени, потому что в то время печень считалась вместилищем храбрости. Там, где эта «печень» казалась мне особенно неуместной, я, хоть и не без сожаления, заменил ее «сердцем». Думаю, что поступал правильно, но нелюбо было бы нынешнему переводчику в подобных случаях осознавать, что сердце — такое же вместилище храбрости, как и печень, и что мы, сегодняшние поэты, продолжаем говорить: «Сердце мое полно чем-то...» спустя много веков после открытий в области кровообращения, сделанных современником Шекспира — Гарвеем... И, правдо, жалко, что приходится опускать эти смешные на первый взгляд детали — они и любопытны, и имеют определенную познавательную ценность. (Здесь уместно упомянуть и весьма смелый язык многих шекспировских героев и героинь, в течение веков он подвергался цензуре со стороны викторианцев и французов, но упоминавшийся уже шекспировский шут пробивался сквозь их запреты и, торжествуя, адресовал им свой циничный жест. Этот жест следует сохранить, потому что он знак своей эпохи и потому что без него буфоннады становятся скучными. Что школьникам будут хихикать в классе, не столь уж страшно — так было и так будет, — но важно, чтоб до нас дошел не умерщвленный эвфемизмами, а сочный и полный жизни язык Ренессанса.)

В связи со сказанным выше следовало бы снова вернуться к вопросу о языке. Не надо забывать, что нынешние переводы классиков исходно осовременены уже тем, что их словарь и синтаксис — в отличие от словаря и синтаксиса оригинала — современные, сегодняшние. Поэтому я стремился к тому, чтобы язык перевода, сохраняя естественность, в то же время не звучал слишком современно: